



Анастасия
ЦВЕТАЕВА

ЗИМНИЙ СТАРЧЕСКИЙ КОКТЕБЕЛЬ

(дневниковые записи
10—15 ноября 1988 года)

Анастасии Ивановне Цветаевой в этом месяце исполняется 95 лет. Мы восхищаемся стойкостью, с которой она перенесла тяжелые годы своей жизни, сохранив свет и молодость души.

Фото Леонида Шимановича

— В Коктебель? В вашем возрасте? В эту осеннюю пору? С телевидением? — сказал мне мой 76-летний сын. — Вы им скажите: «Меня сын не пускает». Только если они вам достанут двухместное купе и с вами согласится поехать наш друг — врач, чтобы вы могли дорогою отдыхать, а не в четырехместном купе, вот так!

Фильм о Марине Цветасовой — сестре моей — после командировки съемочной группы в Париж, по ее следам, в Чехословакию шел к концу. Нам дали купе, и мы поехали — с телевидением, в осеннюю пору (я на 95-м). У нас оказалось столько еды, у Спутника и у меня, — снабдили нас на дорогу, — что не знали, за что приняться. Удивляло еще то, что, выехав с севера — осенью, мы, близясь к югу, въезжали в густой снег! Ехали, ехали. И — стали где-то возле Мелитополя.

...Авария! Поезда с севера доезжают, останавливаются. Поезда с юга — совсем не идут. Спутник мой шутит:

— Вот и пригодятся наши припасы! Ведь ресторан перестал действовать, электричества нет.

Еда. Беседа. Незнание. А ночью так ласково — сверху наклоняется надо мной — добрая голова. Добрые руки стараются помочь, дружески и врачбно облегчить непонятный недуг, постоянную головную боль.

И вдруг тихо приходит поезд в движение. Едем! Лишь бы авария — без человеческих жертв! И Бог милостив: медленно проезжаем мы причину беды — товарняк сошел с рельсов. Цистерны, с чем неизвестно, — опрокинуты по насыпи, одна — в искусственном Каховском море. Дым, вывороченная земля, рабочие... О жертвах аварии — не слышать!

И вот уже пирамидальные тополя, с детства любимы, и Сиваш, где в молодости моей столько пролито русскими русской крови после революции, в междоусобной войне. И уж близится Феодосия, любимый город моей и Марининой юности. Как радостно мне к ней подъезжать не одной!

Но и Феодосия становится — сном. Автобусом приближаюсь к Коктебелю. Поворот дороги — и сразу, точно так, как ждала и как уже писала — о 1911-м, тогда вприсык, — так сегодня, быть может, в последний раз — три горы на закатном небе, три горы, ожидаемые и обещанные. Правая, продолжением холмов, из них готическими острями восставшая, — странно имя ее — Сьюрю-кая; перешеек и — серединная, горбом, полукругом поднявшаяся, зеленая Святая гора, в себе татарского праведника сокрывшая. Перешеек и всех сложнее, лесом и скалами восстав, и в море рушащаяся, профилем Максowym, абрисом рта, бороды — в море легшая, Карадаг-гора, гора Карадаг. Кротко закат принял их скупым золотым, и тогда я голосом Макса, медленно:

**И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи...**

И пошли они, горы, поворотом автобуса распаться, расступаясь оптическими законами, временем, преходящим пространством.

Вот уже нет гор, одно море, и нет ему ни конца, ни начала, синеве, и закату, и рокоту. Мы уже сошли, Спутник, он — такой большой, и я — маленькая (в мои 94 уютно ложатся дважды его 47). Вправо от нас жерло двери, где скрылись сопровождающие оформлять наш приезд. А мы — мы, мы — по земле Коктебеля — в легкий сумрак потемневшей дороги сада, в ритм шагов, — чей голос первым начал, чей подхватил?

**...Бессонница. Гомер. Тугие наруса.
Я список кораблей прочел до середины...**

Я, голосом Мандельштама, — так навеки запомнилось, — и Спутник впадает в мой

**Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладю когда-то поднялся.**

В унисон, как когда-то с Мариной, увлеченно, — его 47, мои 94:

**Как журавлиный клин в чужие рубежи, —
На головах царей божественная пена, —
Куда плывете вы? Когда бы не Елена,
Что Троя вам одна, ахейские мужи?**

И уже дружно, внев друг в друга, как сам Осип Мандельштам — убежденно:

И море, и Гомер — все движется любовью.

С крутым выгибом его голоса, волшебным воплотившегося тут сейчас, где я в 1915-м его слышала:



Акварель М. Волошина. Коктебель.

**Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.**

А вокруг нас уже — ночь.
Мы уснули в двух, почти смежных комнатах Дома творчества.

Как прежде, в юности, все передавалось — в Память, так теперь все передается — в Забвение.

Стирается с доски грифельной дня — утро, и стираются меловые узоры вечера, но вот выжило: идем вдоль моря, по чужому Крыму — снегу, идем прогулкой по берегу — выбирая ногой, где ступить, — а над нами, там, откуда сошли к водному рокоту, сверху — лает собака. Но у нас для нее, неожиданной, неведомой, есть от завтрака куски бутерброда, зовем ее ласковыми голосами, и она умолкает, сбегает вниз — черная, поджарая, стоячие уши ее вздрагивают согласнo, алый язык длинно ловит ломоть сыра, а серое море вторит беседе и удивлению пластам пышного снега на туге и кипарисах, отсутствию горизонта, туману и морской мгле. Неприюту и Неизвестности справа и слева, пропавшему профилю Макса. И все заменившему, жадному и веселому, собачьему языку, черной голове остроухой, ничего не знающей о Максе и Марине, но больше, чем мы — море, чем нас — море, собаки, сейчас нас, обоих, любящей за сыр. Не зная любимых собак прежних лет — Макса, Марины, моих...

В Коктебеле — зима! Вместо гравия и земли — белый бархат, хрупко тающий в непонятности! Шубка синеглазой Оксаны, поспешившей к нам, услышав про приезд телевидения, — инсценировка к «Снегурочке». И белая маленькая собака, с ней пришедшая, кажется от белизны снега — желтоватой...

Радость встречи! Я три года не приезжала! А Спутник тут — впервые. И то, что они оба — врачи, делает встречу по-особенному ценной и нужной — ведь больных везде хоть отбавляй...

Прыжки Оксаниной собаки — тоже радость встречи — она сытая и печенье ест из воспитанности, чтобы нас не обидеть! А та, что вторая, вчера вилась вокруг нас, — ест подряд все с собакиной благодарностью, она еще меньше Оксаниной и еще белей — почти один цвет с снегом!

А на море сегодня — волны! Одна серее другой — куда делись зеленые волны! — это пенный свинец, он грохочет — и как его не боится самая маленькая; когда Спутник сбра-

сывает ей с тарелки еду, она царственно не замечает морской грохот, подхватывая на лету — куски...

Почему-то опять — вечер... И тот, вчерашний, поэт — голубые глаза и бакенбарды под старину (а почему у него — лунные волосы, он — седой?) — написал стихи, в них строки про мой разговор с Максом Волошиным: «Скажи, скажи, Анастасия, Ну, как — еще стоит Россия?..»

Он обещал дать знать Ире Махониной и Мусе Изергиной, что я — здесь...

Когда-то я с Максом ходила в бурю на феодосийский мол, возле Генуэзских башен... И волны хлестали нас по ногам, и мы смеялись. Это было больше, чем полвека назад, — полвека и еще четверть века!.. Мои старческие простуды — я со Спутником встретила в больнице, заболев пневмонией, скоро 12 лет назад, — эти простуды меня давно отбрасывают от смеха, если промочу ноги, и остаемся в комнате Дома творчества с милой и давно мне дорогой Оксаной, а Спутник идет на коктебельский мол, который зовется пирс, — другие времена и имена иные! Задевая снежный покров пирса, море бушует, бросает волны, сизые, пенные, и мне кажется, он смеется их обоюдной отваге! Всего окатило, но я, ему дважды мать, буду беспокоиться о его здоровье, хотя он и врач — и какой! (Такой дома, в медицине, как эти волны — в море)...

...Зовут в мастерскую Макса, а я — в минувших днях лета 1911 года в Коктебеле... Получая письма Бориса о скором свидании и ему отвечая, с замершим сердцем ждала его приезд. Счастье Марины и Сережи меня к небесам поднимало, мне шел 17-й год. Борис, весь в фантазиях, как-то обмолвился о возрасте своем — 27... Но и это, как оказалось потом — преувеличенное, число ничего в нем не открывало — так он дивен, неведом был, ни на кого не похож. Менее всего — на Сережу. Теплая мечтательность Сережи, его вдали потерянный взгляд, их полная слиянность с Мариной, от меня ее отнявшая, нацело, была — я это чувствовала всем существом — совсем иным краем, чем тот, в который я входила с Борисом, ничего мне о себе не рассказывавшим, но по-иному уводившим меня от Марины. Тем жарче я стремилась навстречу Борису. То, что он едет ко мне, было уже нечто, — а ведь мог не приехать — это бы не удивило меня... но его приезд теперь был мечтой об окончании моего одиночества рядом с ними двумя.

С телеграммой в руке я ехала в Феодосию, потерявшись в синеве Борисовых глаз, в ореоле пышных волос, золотых,

как у Листа, обрезанных над плечами,— сходство было, впрочем, и с волосами Пра*, тоже круто обрезанными у основания шеи,— но их темно-серебряный цвет различал старостью от неведомого Борисова возраста. Что ему не 27, а куда меньше, было ясно в минуты его раскаленного, неудержимого смеха.

Феодосия. Вокзал, четверть часа до прихода поезда. Их не переживешь вторично, со всем опытом моих 94-х лет — я не берусь описать их.

Но в тот миг, когда из вагона легко соскочил и пошел мне навстречу тот, кто должен был оказаться Борисом, неузнаваемый Борис, в темных очках, с коротко остриженными волосами,— что сделалось со мной? Негодование, обида, смятение — и уже шло хладное объяснение: жара! И все-таки это был он, он шел рядом; голос был *его*. Мы идем вместе, в падающем южной мгlistой крутизной вечере, и вот линейка везет нас в Коктебель...

Какая темная ночь! Когда она сделалась? Только что был закат — когда подходил поезд... Это — стрекот цикад? (Цикады — это кузнечики?)

А сияние над той пустотой, где должно обозначиться море,— откуда оно, ведь луны нет? На темном небе еще более темные абрисы трех коктебельских гор — радостно, что их дарю ему я,— рассказываю о них Борису — он столичный житель, не видел ни моря, ни гор,— а летом — свою стель только — в имснье... Ему, наверно, волшебное звучат имена: Сьюрю-кая, Святая и Карадаг. Господи! Какое счастье дарить ему это... Уже подъезжаем. И сейчас рука в руке — к морю, я подарю ему море! Он не видел его никогда...

Линейка остановилась перед домом Макса Волошина. Пальцы путаются в деньгах, в ритуале расплаты. В то время как почти неслышимый звук прыжка, легкого, нарушает стрекот цикад...

Я стояла одна на дороге, возле скамейки, на которую водружал возница — Борисов еле зримый чемодан.

Почти как удар грома — мое одиночество, и горький мой путь вслед исчезнувшему Борису — к морю, уже им овладевшему, неподаренному ему. Возвышаясь силуэтом над роко-том моря, стоял мой Борис, скрестив на груди руки, и — голосом мрака, гордости, торжества — отрешенно и все-таки упоенно шли над морем слова Полежаева:

**Я видел море, я измерил
Очами жадными его
И пред лицом его поверил
Я мощи духа своего...**

Отстранив меня — нацело...

Мой первый любовный опыт!

...Но день идет, и мы позваны к Максy, в мастерскую, в его круглооконную башню, и я в парадном темно-зеленом костюме сижу в кресле, как моему возрасту подобает, и, смеясь, внутренне, этому, отвечаю телсвидчику Диме — он режиссер фильма — на вопросы о почти легендарной уже старине тут, в этой вот мастерской... Плохо, по-моему, говорю, не в ударе, не можется что-то, но это мой долг Марине — и стараюсь, вспоминаю и повторяю, говорю стихи.

Годы со счета долой! Тут это было, перед этими окнами, у лесенки антресоли, вдоль книжных полок, но только не я, а мы, вдвоем, в унисон, в два неотличимых голоса — Господи! из каких невозвратных далей эти почти веселые, юные голоса?

**Мы быстры и наготове,
Мы остры,
В каждом взгляде, жесте, слове,
Две сестры.
Своей правна наша ласка
И тонка,
Мы из старого Дамаска
Два клинка.
Прочь, гумно и бремя хлеба
И воли —
Мы натянутые в небо
Две стрелы!
Мы одни на рышке мира
Без греха,
Мы из Вильяма Шекспира
Два стиха...**

Марина — выше, плотней, Ася — меньше, у обеих кудри до плеч, русые. Никогда не в одинаковых платьях, всегда

* Пра — Елена Оттобальдовна Волошина, мать поэта (от «Пра-матери»). (Примечание редакции.)

в разных, и хоть похожи, но разны, и никаких нежностей телячьих, как в ходу у сестер,— спартанство. Взгляд, неуловимый кивок, улыбка, каждая утверждаясь в другой...

Да, но в мастерской этой читали стихи не мы одни — читал Осип,— и, выгнув голос лебединым движением Мандельштама,— его, тогда говорили, 14 лет стихи:

**Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать,
— Господи! сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать...**

**Боже имя, как большая ивица —
Вылетело из моей груди,—
Впереди густой туман клубится
И пустая клетка позади!**

А от окон — подсказ:

...Бессоница. Гомер. Тугие паруса...

Нет, я этого говорить не буду — *Маринино!* (Я ведь для того — такую старухой здесь...)

И льются в воздух мастерской строки 1914 года, столько раз прозвучавшие двойным голосом; итог стольких бессонных ночей — юности...

**После бессонной ночи слабеет тело,
Милым становится и не своим,— ничьим.
В медленных жилах еще зашывают стрелы —
И улыбаешься людям, как серафим.**

**После бессонной ночи слабеют руки,
И глубоко равнодушен и враг и друг.
Целая опера — в каждом случайном звуке*,
И на морозе Флоренцией нахнет вдруг.**

**Нежно светлеют веки, и тень золочет
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик,— и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.**

Когда-то в моей книге «Дым, дым и дым» я писала: «Маринина смерть будет самым сильным, глубоким, жгучим — слова нет — горем моей жизни...» и «Мой голос... жутко покажется мне — половиной расколотого инструмента», — как я могла предвидеть?..

И для чего я говорю эти стихи Марины сегодня? Этим случайным людям... Но ведь они любят Марину... Да, стихи я могу, но счастье тут Марины с Сережей — оно только во мне.

И тут — Спутник мой (большой, как некогда Макс!), это я ему говорю муку Марины, мою, на него всю ветерком юности... И уже просьба мне — встать и пройти вдоль мастерской, будет снимок, нужный для фильма, и я иду, и лацусь о Максовы стены, и говорю, что мне радостно видеть, как все тут осталось, как было, кроме — голос мой холодеет,— кроме вынесенного стола, им самим сделанного, он должен стоять здесь... Его вынесли для удобства экскурсантов. Это — грех, пусть потесняется.

...Опять вечер! Как скоро! Веселая трагическая Оксана, астматик, могущая жить только здесь (а мать ее — в Минске), ведет нас к меня навесившей внем Ире Махониной — поэтессе, художнице,— и Спутник вдвоем художником, передавший дочери дар — сдала в Художественное училище! — ему будет радость, все стены ее увешены этюдами и портретами. Но не только собаки льнут к Спутнику моему, а и кошки, а кошек у Иры — две, мать и сын, и уже из-под пальто (у Иры свежо), у груди его ластится пестрая кошка, рыже-бело-черная, не поймешь, в сумасшедших разводах, всеми росчерками своей шерсти, своей красоты сразу признавшая гостя, пока я глажу ее рыжего сына, темно- и светло-рыжего, дар рисунка от матери своей повторившего тигрово-леопардовыми разводами.

А гость бессовестно изменяет кошке, он поглощен творчеством Иры, загляделся девушкой-эльфом, над водою летящей, в сочетании с тяжестью гор, создающих достоверность образа,— и все это в легчайшей пастели...

Но время не ждет, и мы уже вновь в зимней морской ночи, полутопая обувью в таянии снега, подходим к жилищу Оксаны... Уют, женственность. И гитара в руках, и мелодический голос ее ведет за собой струны гитары, она положила на музыку стихи Макса, Марины; заелушался гость.

(Опять по ночным записям! Неужели — не может быть! Чтобы в том же блокнотике, в полутьме — на кусках — не прочтется? Мелко, теряю зрение... То, что так зажглось

* Цитирую первый вариант, потом она кое-что меняла.

под пером, рвалось к бумаге, но еще был законный час сна, я себя уговаривала, записав, лечь,— и опять, как тот раз, зря? Не прочту? Нет! В путь по записям, осенив себя крестным знаменем,— ведь не в грех иду, а может быть, сумею рассказать, как идти, Искусство, по берегу греха, не окупиться!..)

...Но надо сказать об Ире, о ней самой. По-моему, она ростом со Спутника? (Другого измерения, чем я. Ее голова — так высоко!) Крупная, большеглазая, сама на кошку похожая. Увлелась в юности, как я. Последнего мужа, обратив в веру, отпустила в монастырь — разве не удивительно? Что-то очень родное — мне в Ире!

А Спутник не только художник, он — писатель. Мы (лет 5—7 назад?), поэтесса и переводчица Женья Кунина, сестричка моя, и я: «Такой врач, да еще художник,— пишет?» Мы ждали его — с трепетом: как объяснить (он так умен?), что пишет он — ну... ниже себя врача, что ли? Был вечер. Мы слушали, занемев... *Этот человек пишет — прекрасно!* Мы еще потому не верили, что сказал, что прочтет нам — о сельской жизни! Городской житель. Но он просто сказал: «Я по распределению был послан — в деревню. Я 3 года там жил».

Как мы его поздравляли! Но — работа — дежурства ночные, такая профессия — вырывать у смерти больных! — встречи редкие, и прошло — 4? 5? лет, пока я услышала — его отороческие дни. Как тонул. Как за отвагу боролся, понимая, что в ней — жизнь...

Превосходно написано! И затем, еще раз — фантастика? Касание к необычному!

И эта любовь животных к нему...

Раз он так понимает мое, и так свое пишет — мы что, парой впряжены в колесницу? И тут, в Коктебеле, набираем с ним — «материал»? А в этой поездке я под его рукой, как под шатром. (Как трудно понять все: я ему — мать, а он мне — врач, отец, что ли? Это как-то ни на что не похоже...)

...И эта, уже 14 месяцев, моя (невралгия на почве остеохондроза шейных позвонков) постоянная головная боль, которой и он тоже не может помочь? Как же это иначе понять, чем Богом посланная болезнь, и ей только одно лечение — терпение?..

Но как нежно карает Бог, милостиво испытывает: боль, но при ней я могу писать, от нес отвлекаюсь — дружбой, встречей с друзьями, радостью о собаке... Правда, я отмечаю в себе некую приглушенность чувств — ведь волнения от встречи с бухтой Коктебля, с морем, где была и счастлива, и несчастлива на протяжении долгих лет,— волнения во мне — нет? Или только человек может меня взволновать, а природа — уже нет? Или эта немота — не от болезни, а только от возраста? А тот поэт с бакенбардами — неужели забыла сказать обо мне Мусс Изергиной? Не идет ведь... А мне — к ней с постоянной заботой о смене обуви по такой дороге... И вдруг не застану, а может быть, она — в доме, а Джим — пес ее, когда-то щенком у меня на коленях — не узнает у калитки меня, бросится? Вот и вспомнишь тут телефоны московские, которые там *выключаешь!* Как бы включить от Муси ко мне — теперь... Но пока еще есть время — се ждать!

И как *всё* — нельзя, чего ни захочешь — телевидение, «фильм», — а ведь никто из начальства к нам не пришел. В доме-музее Макса про безобразие со столом Макса сказать некому и придется действительно в крымский центр, в газету писать! И кому, как не мне,— нас, друзей Макса, почти уже не осталось! И на вышку нельзя, откуда в 1914 году на затмение солнца смотрели за десятков дней, помнится, до начала войны,— «запечатана» вышка; и в летний кабинет Максина — нельзя, где он прятал в войну гражданскую «и белого офицера и красного командира», как сказано в его Доме Поэта,— Макс любил повторять строки поэта французского: «Je suis cet harpiste qui passe au milieu des armées» («Я тот арфист, который проходит между армиями»). А как точно пишется слово «арфист», я забыла, но помню... Рука, наверное, сама помнит — любопытно проверить... (Годы уже не читаю ни по-французски, ни по-английски, ни по-немецки, а как я любила — какой, не решить, больше,— эти три языка.) Летний кабинет, наш, где я при Марии Степановне отважилась переспать в 6°, — а у Таиах* спал Алеша Шадрин, «мое последнее земное очарование», в 78 лет... Он спешил мне — букет роз в день рождения, шел

* Царевна Таиах — жена фараона Аменхотспа III. Слепок с ее головы из Берлинского королевского музея находится в мастерской Волошина в Коктебеле. (Примечание редакции.)

долго пешком, автобуса не было, он был на 16 лет моложе меня... седой красавец! (Умер от заболевания крови. Мне написал из обеих последних больниц.)

«Мое последнее земное очарование» — так Марина написала Евгению Ланну, а было ей 28 лет... Полвека позже повторено мной — об Алеше.

Запечатан кабинет летний! Куда, загромоздив, унесли стол Максов. Все запечатано! *Всё* — нельзя! А при Максе *всё* было можно, в молодости...

И опять ночь, 3-я, и море бушует — как тогда бушевало. Юность. И как я была счастлива в тот вечер, когда вошел Алеша в столовую Марии Степановны Волошиной с донесенным мне букетом темно-алых роз! (Неужели еще счастливей — Марина с Сережей — тогда?)

А Муся все не идет... Как хорошо я помню ее 10 и 12 лет назад, в годы расцвета ее пения, которое мы слушали с Алешей Шадриним. Но надо рассказать, кто был тот, кого я звала «Алеша». Переводчик. И два слова о его биографии: молодость, красота, успех у женщин. И доносом одной из них — срок, лагерь. Много лет. Выйдя, жил с матерью; не женился. Поступил сразу на два факультета — романский, германский; получив четыре языка, к ним добавил им родственные, переводил со всех европейских языков, первоклассный переводчик. Когда я впервые его увидела, ему было за 60 лет,— красавец, седой, ультравоспитанный, по стереотипу церемонной вежливости; собеседник тончайший. Нас познакомил его учитель — профессор Мануйлов, в Коктебеле. Настолько он был не похож на всех окружающих — не очароваться было нельзя. Так ныне все в нашей стране очарованы Д. С. Лихачевым.

В переводах встречавшиеся стихи Шадрин переводил безупречно; как *поэт* — так перевода, нельзя не писать стихов,— на эти мои слова он только улыбался. Проводил меня на сельское кладбище, в волошинскую ограду, где и мать его, и мать матери, и друзья, умершие в Коктебеле, и Алик Курдюмов, 2 1/2-летний, умерший от той же дизентерии, как мой сын Алеша, за 3 дня до него. Его отец, художник Курдюмов, после смерти сына был отвезен женой в психиатрическую больницу, где и умер; в Третьяковке — его картина исторического сюжета. Смерть наших мальчиков была в 1917 году. Уже без нас Макс и его вторая жена Мария Степановна посадили между их могил тамариск, он разросся над ними крышей.

В 1963 году, впервые после лагеря и ссылки приехав, я, с помощью Муси Изергиной, заказала Алику и Алеше крестик, под тамариском. В 1966 году мы разделили могилки, поставили два креста. Туда, к ним, меня проводил Алексей Матвеевич, что закрепило дружбу. Одноименность с Алешей еще более сблизила; я стала звать его — Алешей.

Еще сблизила нас, как и моя, его любовь к пению Муси. *Всё*, что еще цело романтического в нас,— под ее пение вспыхивало, как в молодости.

И всего больше сблизил нас Дом Поэта, где мы в те годы останавливались у вдовы Макса, Марии Степановны. И могилка Макса, наверху одного из холмов левого края бухты (так Макс обнял свой Коктебель краями, берегами бухты — справа своим, в горé, профилем, слева — могилой). У се левого угла, переднего, рос кустик маслины — символ мира. Ныне разросшийся в большое шумное дерево, в ветре клонящееся над могилой. Большое единственное дерево на всех пустых холмах, указующее издали путь к нему. Мы не раз с Шадриним ходили на его могилу. В последний раз, если память не изменяет, лет 9—10 назад, в мои 84—85 лет, его 68—69. Туда от Коктебеля мы шли 1 1/2 часа (крутой подъем на последний холм), а назад вниз, полубегом — 1 час. Так мы тогда были еще «молоды»!

В Москве Алеша не раз еще посетил меня в моей новой, однокомнатной квартире на Спасской, где я живу с 1979 года — 9 лет.

(*Всё* это я вспомнила под стук колес вагона Джанкой — Москва.)

Была ночь. Видимо, запоздав на транспорт, Алеша принужден был лечь у меня на раскладушке, позади секретера. Среди ночи я проснулась и увидела свет в левом углу, очень *низко*, должно быть, не спалось Алеше и он, неразрывный с книгами, стал читать. Но тут же эти мысли прервал — испуг: ведь квартира моя — на охране, как многие близ 3-х вокзалов Комсомольской площади, а начальник охраны, когда провели провода, сказал мне, чтобы никаких проводов *понизу* квартиры не проводили (освещение — *всё* наверху, иначе спугают и нарушат охрану). А свет от Алешки шел *снизу*. Что он зажег? Как? Подойти? Я прокралась. Книга

выпала из его рук, он — мирно спал. Было сильное искушение — посмотреть, какую он читал книгу. Но я боялась его разбудить. И вдруг все затуманилось, свет погас — и в комнате, и во мне — погасло — как это могло быть? Ведь охрана поставлена всего 3 года, а Алеши нет уже лет — много...

(Я проснулась от стука поезда.)

Так это был сон! Явь же была та, что в Москве у меня он не оставался на ночь — ни разу... А *один* раз — когда в Голицыне он меня навещал в Доме творчества, заговорились и он опоздал на последний ночной поезд, он вернулся, и я его уложила на 2-х креслах и одеялах, и он, вытянув длинное тело, полулежа, так же мирно проспал, как он мне сейчас приснился, — так тесно слиты сон — с явью...

И не у меня ли, лет 50 назад, в стихах сказано:

**О горькой жизни рок. Между землей и небом
Разомкнуты начала и концы,—
Как часто Сон и Явь, в часы затмения Феба,
Меняют ощупью свои венцы...**

Все это я помнила и в ту холодную ночь в летнем Максимовом кабинете этажом выше, чем ложе под Таиах. А в ночь после вечера моего дня рождения, вечера роз и пения Муси, когда что-то вспоминал под романсы ее — Алеша, я, хлебнув мои очарования им, попросила у Бога Помощи, и помог Бог, вял молитве — настала ничем не омраченная дружба до самой его смерти...

Дом Поэта! Неописуемый, незабвенный Макс, поколения приздов к нему неисчислимого множества друзей со всей великой России, в его гостеприимный, поэтический, бедный дом, Дом Поэта, и его кроткая смерть, ранняя, в 56 лет, от болезни сердца и воспаления легких; и, как и он, неописуемая вдова, Маруся Волошина, Мария Степановна, хранительница завстов Дома Макса, на полвека его пережившая, Дома, где эти 3 дня было *все* запечатано — нам с телевидением и Спутником моим открыта одна мастерская.

Все возвращаюсь к тому дню моего рождения, когда Шадрин ушел за розами.

Я ждала его. *Знала*, что он ушел за цветами. (Галантность?.. Я не скрывала никогда — возраст. Он знал, сколько мне исполнится лет!) В этот вечер обещала петь Мусю. Она знала, что ее пение — есть радость моих приездов сюда. Она помнила, как, среди ее старинных романсов, услышав анненскую «Звезду», я вспомнила ту, другую, и, напевая по памяти, ввергая се, певицу, во власть Иннокентия Анненского, легкими искусными перстами подбирая аккомпанемент, — запела. С тех пор эта «Звезда» звалась — моею. Прослушав то искрометное, то — словно смычком по виолончели — мастерское Мусино пение, я говорила, став за ее спиной или взглядом с ней обменявшись:

— Ну, а теперь — мою...

Вот «Звезда» — Анненского:

**Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.**

**И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.**

Теперь, в 94, желая проникнуть в суть волшебства этих строк, которые я — да еще в волшебстве пения — прежде глотала целиком, так глотают устриц (я их никогда не глотала), — спрашиваю себя (Анненского): каков смысл последних двух строк?..

Последняя мне — туманно, но лирично звучит как утверждение, что Она сама свет. Да, но — этому противоречит строка предыдущая. И может быть, надо просто вспомнить «Алису из Страны Чудес» Льюиса Кэрролла, в некоем затрудненнее изрекущую:

«— Я бы дала 5 центов (может быть, 25?) тому, кто бы мне объяснил».

А! Там тоже шла речь о стихах, кем-то немислимым сочиненных, в которых *явно* смысла — не было, нарочито...

Но я бы хотела по-старчески сесть в кресло и хоть раз еще услышать — в пении Муси Изергиной — эту самую «Звезду» Анненского...

В тот вечер просила Мусю еще немного подождать Алешу — он *так* ценит ее пение — как начать без него?

В уголку сидя, я глядела на престелную, вечно юную

Мусю, слушая блеск *ее с кем-то беседы*, и думала об одном: как войдет с розами — он пошел за своими любимыми, первосортными, далеко — может быть, искал? — как он войдет в комнату, где столько людей, как подойдет ко мне? С розами — мимо стальных дам, к — старухе? И когда он вошел — со стремительностью молодого и лавируя меж гостей — *прямо* ко мне, — где взять слова? У меня их — нет! И где взять слова о пении Муси в тот вечер? Когда, сидя рядом, мы вдвоем слушали песни — чью-то любовь — в такой передаче в грации голоса, ни с чем не сравнимого, память о ней — чью? *Мое* расставание с последней любовью? Память о ком-то — Алешину? О, в таком пении ревности — нет! Вечер мой, розы — мои, темно-алые — и как он их подал *мне!* (И сила — *без музыки воспоминания* об этом — сейчас! в 94 года...)

...Мой *последний* любовный опыт!

Какая это была ночь! Еще звучали в душе обе «Звезды» — та, «избитая» (душой прошлого века), и поздняя, строгая, изысканная, как портрет моего «юсследного земного очарования», носящего имя моего маленького умершего сына — такое совпадение, не Богом ли посланное? Как это число «16», дважды повторенное: разница лет между им, седым красавцем, и мной, сохранившей только *напоминание* обо мне в зрелости; и второе «16» лет — промежуток между моей небесной любовью к нему и случайной поездкой теперь в Коктебель, радостно принятой моим сопровождающим, вдвое меня младшим, под его дружеской и врачебной рукой. Его же радость была в том, чтобы впервые в таких неожиданных обстоятельствах увидеть прославленный Коктебель! Он давно знал стихи Макса — и теперь увидит его Дом! Его море!

В эту ночь холод в летнем кабинете Макса был отменный, я водрузила на себя все возможное и невозможное, согревала же меня, добавочно, память о Мусином пении. В тот вечер, как всегда, когда я приезжала, Муся пришла петь — для меня, особенно вторую «Звезду», за три с половиной десятилетия мною в тюрьме слышанную, Иннокентия Анненского, в которой — полыхала душа стареющего Алеши, *так* слушавшего в тот вечер пение Муси, так, должно быть, свою жизнь вспоминавшего.

Не в тот ли вечер, не под эту ли «Звезду» я так, в последний раз, погрузилась в мос увлечение Алшей, что из него *вынырнуло* — в Искусство, в собственной душе — *освобождение!* Что уже совсем чистым сердцем бросила сушить его очень большие ботинки, которые он промочил (меньшими и не могли быть по его стройному, высокому росту...). и теперь, их удобно и безопасно устроив на нужном расстоянии от Максимового калорифера, перекрестив Алешу, уже лежащего, благодарного, на одном из диванов под Таиах, — ушла к Максиму наверх, в ледник только чуть-чуть холоднее, чем под Таиах, *убедив* Алешу грудой одеял и пальто уносимых, из которых он взял себе только одно, — а нечурка уже погасла, не нагрев мастерскую...

И вот — эта ночь! В Максимовом кабинете пламенность моей молитвы о Помощи!

Все человеческие чувства (и старость, которою любовь выражается, на нес непохожая) имеют *дно*, будучи — *сами* — бездонны. И все повисает в воздухе, безвоздушном!

Помню, английский поэт Fitzgerald перевел стихи Омара Хайяма, перекликающиеся с Мариной, с моей зрелостью, годы назад упоенной Омаром Хайямом... Кто теперь мне на потребу процитирует позабытые, любимые его строки?

Наша жизнь *от* земли отлетает, *на* землю падает!.. Неутолимость любви — здесь... Выше, выше! Выше неутоленность — неутолимость!.. Ибо выше всего — Образ и Подобие Божие, данное нам.

Неутоленная любовь — выше утоленной?

Отчего же так мил человек, так драгоценен, что в мгновении *затмении* кажется драгоценней всего...

Господи! Ты, который *все* можешь, Чье Сердце, Его Ритм, Его Пульс (это я где-то прочла) бьется Чудесами (побеждая законы Природы), Ты, Который из грешника можешь сделать Праведника, Биением Твоего Сердца — неизбежными, неисчислимыми *чудесами*, самую суть всего составляющими... Сделай со *мною* маленькое, простое чудо — чтобы не искушалась я искушением, ничего *не* хотела бы *для* себя, чтобы я *легко* делала то, что я *трудно* делаю. *Чтобы я боролась себя!* Я ведь знаю — не это ли мне в юности моей толковал Волошин, — что мы *получаем*, только когда *отдаем*, знаю и то, что надо жертвовать, не рассуждая и не ожидая — в ответ!

Научи меня *побеждать* себя...

Разве не ясно, что все человеческие страсти и любовь, все человеческие возможности дадут *один* итог — пресыщенные... Почему же мы так слабы, что хочется себе — хоть немножко... Ох, какая долгая ночь... Как холодно...

(Ничего не разберу в записях!) Но еще не предала в забвенье — как в день отъезда, когда я хотела просить телевидчиков довезти меня к Мусе — потому что она не шла, а поэт тот, может быть, и не сообщил ей, что я тут,— вдруг весть: мы не в Феодосии грузимся в поезд с аппаратурой, а должны *сейчас*, чтобы не опоздать к поезду, лететь на машинах — в Джанкой, *такие* билеты достали... Прощайте, моя Мусенька! Летим в Джанкой.

О радость! По пути на поезд машина остановилась у домика коменданта кладбища Полины Леонидовны Грицквич, недавно мне приславшей цветную фотографию Алчиной младенческой могилки — в цветах, она смотрит за нею, показывает ее спрашивающим, где тут сын Цветасовой, и говорит, что Марины Цветасовой тут нет — она далеко, в Елабуге. Старушка, которой я шлю нужную ей гомеопатию, вышла ко мне — и мы обнялись. И машина помчалась...

По приезде в Феодосию 3 дня назад меня повели наискось от вокзала, к родной «Астории», где в 1920-м, в первые дни здесь красных, давали даровые обеды — пулярды! — за работу в библиотеке Наробраза (пулярды скоро сменили — макаронами...) Мы со Спутником успели только перейти путь, как подошел на Москву поезд. И вот мы едем, и нестерпимая жара вагона, просто нечем дышать!.. А скамеечки, на которых мы, нижних, лежим, так узки, как ни в одном поезде до сих пор! Юра стелет матрацы, и они с полком *спускаются*. Ночью я во сне просыпаюсь, повернувшись, лечу с моего места — и от чистого страха вот *сейчас* сломать шейку бедра, стать инвалидом — полупадая, повертываюсь в воздухе и кидаюсь к стенке,— спасена! И тогда я сбрасываю от жары одеяло, свертываю по ширине, толсто — и кладу на пол — чтобы, если еще раз полечу, не об пол, а об одеяло! И рикшетом — страх: что будет, когда утром, с чаем, войдет проводница, видя одеяло на полу?.. Но сон морит — я сплю...

Продолжаются мои ночные записи — Бог в помощь! Что добавить к этим страницам? О Москве, что продолжится?

Мои одинокие московские утра с ожиданием, что кто-то зайдет и дам мешочек измельченного хлеба — сойти во двор покормить голубей, знающих ритуал, как знают шаги хозяев своих — собаки: моя песенка им в окно с ритмическим стуком, и появление внизу человека с мешочком — и тогда с шумом вниз, с моего балкона, не ошибутся ни в чем никогда.

И мои одинокие вечера, когда я, проводив друзей,— одна, наконец, кончаю день, улыбаюсь рассказу друга моего Доброславы о ей подаренной кошечке с моим именем «Ася» — оттого и взяла,— как она с каждым днем все больше делается человеком и неизвестно, что из этого получится...

И надо же, чтобы за год до того за ней увязалась Ася (собаку ей удалось переустроить в хороший дом — а Ася, кошка, прочно у них поселилась) и часики ручные Доброславины стала уносить — в мордочке, а не об пол, *поняв*, что они — живые, и осторожно каждый вечер их уносит во рту себе на потребу в уголок передней. (Мне урок: «Себе на потребу!») Но она — кошка, а я — человек, мне — нелзя.)

А поезд все мчится и мчится по бессонным полям. Спутник, после бессонных ночей, годы работая в реанимации,— сон победил жару,— слава Богу, уснул...

«Бедный, бедный Алеша!» — думаю я, листая тетрадку стихов, посмертную, присланных мне наследником Шадрина. Листаю и мысленно отмечаю то, что может пойти в печать.

**Жизнь, должно быть, опять обманет,
Как бывало уж много раз,
Только — как ты ей благодарен
За сегодняшний светлый час!**

Читаю и узнаю его скрытую силу:

**Когда приходят под вечер метанья,
И одиночество, и дрожь —
Скажи себе: и это испытанье,
И через это ты пройдеши!**

Где та, о которой он пишет? Жива ли? Знает ли, что его уже нет?

**Мне б тебя лелеять и радовать,
Мне беречь бы в тебе мечту,
Но любовь моя — с перепадами
И — с провалами в пустоту.**

**То — упорные, неумные
К свету рвутся ее ростки,
То — ложатся полосы темные
Отчужденности и тоски...**

Читаю и думаю, с нежностью, о бедной его подруге...
Дальше — следы эпохи прожитой:

**Был неба свод и сер и слеп,
А на земле нам хлеб был небом.
Мы разговаривали с хлебом.
Был год: мы целовали хлеб.**

Да, и голод был ему ведом, и тюрьма, и лагерь. Вспоминаю мельком сказанные слова, что женщиной был написан донос...

**Беспомощностью собственной унижен,
К себе войдешь и изумишься ты.
Ты видишь: кошка похает цветы
И в них травинку тоненькую ищет.**

**Что, если б так вот сам ты был мудрей,
Что, если б так на миг себе поверил,
Иль просто поучился у зверей,
Откинувших свое высокомерье?**

И еще, еще...

**Что страхи, что — томленье, что — потери,
Разрознённости хаос и надрызг:
Бессонница? — приоткрывает двери
Она теперь в незримые миры.**

**И, может быть, былых раздумий тропы
При ней лишь воедино сведены?..
Бессонница моя! Мой поздний опыт
Полета. Постыженья. Глубины.**

Об этом ли думал он, слушая пенье Муси Изергиной, взволнованно:

**Пусть вел он к буре и к беде
Обоих нас от глади торной,
Я все отдам за этот день,
За взлет шагов и воздух горный,
За узанную сицеву
Средь низких туч нагроможденья,
За — это солнце сквозь листву:
Несбыточности пробужденье.**

И вот — о тюрьме:

**Везде вас хочу узнавать я,
Везде вы мерещитесь мне —
Чугунные прутья кроватей,
Чугунные прутья в окне!**

**Как нить, эта память продлится,
Останутся всюду со мной
Небритые валье лица
С недавней на них седины.**

**И взгляд их потухший и кроткий,
Оглянешься по сторонам —
Все те же шаги у решетки,
Все те же мешки по стенам.**

.....
**Чужие тяжелые доли,
Пожатья тяжелые рук,
И мысли о людях, о воле,
О жизни, замкнувшейся в круг...**

Даже после лет заключения — вновь — бунт:

**Я и так уйду успокоенный
Накануне Большой Беды.
Не хочу я жизни устроенной,
Тихой пристани у воды.**

**А потом — тревоги задымленной,
И над гробом — толков кривых,
Я уйти бы хотел без имени,
Без могилы и без молитвы.**

«Бедный, бедный Алеша! — думаю я.— Мой Спутник проснется — прочту ему то, что отмстила. Он так все понимает!»

Перевернула страницу своего блокнотика — и ни слова понять! А столько в перо вошло! Ушло! И полет бурным утром строк — вверх, вниз — видно, как польхало сердце... изнемог ум... польхало! И в памяти вдруг — значение древнееврейского языка: «гур» это «лев», а *окончание* фамилии Спутника — «финкель» — немецкое «funkeln» — иначе не сумела бы перевести, как «полюхание»...

А дальше — 2 строчки блокнотика так любовно слились, что никто не прочтет никому...

Зачем я так спешила? Не упустить мысль, образ, вдохновение — каракуль, нечитаемо *навсегда*, все ушло, часть ночи ушла, откололась и отскочила — в забвение...

Ведь с юности поняла: все здесь — безнадежно, подвержено заживо — тлению, потому что мы, бессмертные, умираем каждый день, каждый час. И с юности не пойму, отчего же так *мил* человек, тленный, неверный, подверженный всем влияниям, как огонь на ветру? Что же светит в нем, как маяк в ночи, как луна — в темной избушке? Образ и Подвиге Божие? Мариной Цветаевой:

...Тем ты и люб, что — небесен...

Снова, как в молодости, *мы с ней в унисон*...

И опять эта коварная стихотворная лирика, в которой мы сожгли нашу молодость, вот она в старости, здесь...

Руки люблю
Целовать, и люблю
Имена раздавать,
И еще — раскрывать
Двери!
— Настежь — в темную ночь!

Голову сжав,
Слушать, как тяжкий шаг
Где-то легчает,
Как ветер качает
Сонный, бессонный
Лес.

Ах, ночь!
Где-то бегут ключи,
Ко сну — клонит.
Сплю почти.
Где-то в ночи
Человек тонет.

Фантастика прошлого, 1911 года: Марина уже вжилась в Коктебель, меня ждали позже. Неузнаваемость впервые веселой, счастливой Марины — в шароварах, чуваках, загорелой, как мальчишка, — невероятный Макс и мать его, все больше похожая на карточного короля (безбородого!), Игорь Северянин, манерно нюхающий розы на кусте, испанка Кончитта, в Макса влюбленная («Как не понимает она, что Макс — общий, ничей?» — думала я), ее веер и смех, катящийся золотыми шарами, поэтесса Мария Папер, читающая ужасные стихи, несмотря на явность того, что ее не слушают. Один день до ночи, среди этого бреда, наутро превратившийся в явь: Северянин и испанка — брат с сестрой, Сережа и Лиля, Папер — еще сестра, Вера, однодневный спектакль, на мою изумленность. И мой в 15 лет ответный спектакль — не изумиться, как бы заспать «вчера» и *принять* «сегодня» — мои первые два дня в Коктебеле...

И фантазмагория настоящего: седобакенбардовый бард меня, в 94, зазававший в «Травную чайную», где, как будто в зеркальных стенах, за каждым столиком — самовар электрический, и им управляет дама почтенных лет. Ни в одном чайнике — чаю, в каждом — эликсир трав, от которых мне — тошно... Но, нацело отвратясь от современного бреда, я тишью поднять с колен — красавицу юную, должно быть, что-то мое прочетшую, что ей по душе, и в ответ на ее поцелуй на моей старой руке — я, целующая ее ручку. Она, как и я, «отсутствует», а работает она на заводе, на каком-то кране... фантастика! И Спутник, все в себя, писателя, вбирающий, меня от всего защищающий. И настоящая темная ночь, звезды над снегом. И память о Марине с Сережей, их — вечном, надо всем — *счастье*...

...Темная ночь, и по ней несется наш поезд. Спутник покрыт простыней, и голова к окну — не простудится? (Отчего, пока мы тут, а не в вечности, все время о чем-то страдаешь? *Без* перерыва...)

Пациентка старается дотянуть простыню выше — к шее врача, и врач просыпается.

Рассказ о темно-красном одеяле, на полу. И тогда пассажир, Спутник, врач, с врачебным спокойствием подымает

свое сброшенное одеяло, темно-красное, и, не складывая, целой горой, бросает *свое* — на мое. На полу, рвущемся на рессорах, по рельсам, целая Сюрью-кая! И ничего не боится Спутник, даже самой проводницы. Да я под его рукой — как в шатре!

Мы проехали Харьков... Это уже не Крым, Россия.. Надо уснуть — и заспать все: молодость, старость... И вдруг — опять Алеша Шадрин! Господи, помоги! Лет 8 спустя, когда ему уже было 70, он, приехав из Петербурга в Москву, был у меня, рассказал, в смущении, что им увлеклась девушка 16-ти лет (роковое число 16!). Он не знает, что делать... Оттолкнул, как бы мягко это ни сделал... Он, может быть, не договаривал, что сам он, в 70... что *ему* в сердце вошла девушка эта... Как я просила его — устоять! Не искушаться, ибо тут нет будущего, а ради одного настоящего... Я уговорила его — *пожалеть* ее! В будущем? Он слушал, смятенно...

Я боролась за его достоинство, за *его* душу... Мне радостно вспомнить, что он «внял голосу разума»... что он — устоял... Быть может, и Юре, в *его* будущем, предстоит такое... Господи, помоги мне в тот день!

...Уже вспоминаю. В завтрак, обед, ужин 3 дня Спутник кротко ест невкусную еду, не снисходя говорить о ней.

И вот — печатями на последней странице моего дневничка путевого «Зимний старческий Коктебель»...

Первой печатью — письмо в Москву Муси Изергиной, 75-летний голос которой до сих пор в душе моей звучит — над роялем Маруси Волошиной, где (по легенде ли, в яви ли?) играли и Скрябин и Рихтер, — и с которой я дружу более 20 лет (ей 80), — почти отчаяние о *невстрече*... Не знала, что я в Коктебеле, потому что никто не сказал!.. Так хотела со мной свидеться, ведь так давно не видалась — трудно поверить, что такое — случилось, что я *была* в Коктебеле целых 3 дня...

И еще печать: весть — после нас снег стаял, настало тепло, поэт снова купался!..

(Значит, для нас он лег и лежал — как иначе?)

Третья — голос в телефон телевидчика, режиссера фильма о Марине, сестре моей: «Здравствуйте, я просмотрел материал — очень складно получится...»

А в Москве — еще не зима, и зимний Коктебель кажется — сном, и с этим ничего не поделаешь...

Вспоминаю: как хотелось мне, чтобы и Спутник *был* со мной на могилке моего сына Алеша, — но я умолчала об этом, и он, поручив меня Оксане, хотел остаться, не умножать простуды. Поэт пытался меня удержать от похода на кладбище по такому снеготаянию: «Там очень грязно...» Я ответила: «Кладбище — на горе, с него все стечет...» Обращаюсь с молитвой о помощи мне *идти* и в тотчас к дверям подъезжает телевизионная машина, вернувшаяся из Феодосии. И мы едем, и Спутник — со мной.

...Москва! Коктебель — приснился? Но ко мне пришел Спутник — и я ему прочту все, что тут мной написано. Он — писатель, на его суд. Сказала — я? Не сказала (лучше поздно, чем никогда), что я уже 12 лет называю его сенбернаром, и хоть много собачьей — выставочной — красоты сошло с него в ночи реанимации — но это тот же заслуженный Сен-Бернар, в Сен-Готардских горах, спасающий заблудившихся путников — силой лап, роющих снег альпийский, — и в руки принимающего, разбуженного сующий боночек с ромом...

Сегодня он мне принес фантастической красоты ветвь винограда — «Крымского»!

И мой самый любимый, детским пряником пахнущий бординский хлеб!

И я прочту ему, выслушаю его суждение — и вот я дописываю то, что не удалось сразу, — мое горе невстречи с Мусей, долг подчиниться спешке машин, чтобы не опоздать к поезду, — не в родную Феодосию — тогда бы я к Мусе *успела!* — а в Джанкой (мы за три минуты домчались до прихода московского, и два сердца — Мусино и мое — билось негодованием и горечью)...

Сердца Алешиного *здесь* — уже нет!

Но память о прожитом, пережитом, перестраданном — вечна, и да будет *ей* *пухом* — земля...

И — которой печатью? — на этих страницах — слова по нашему возвращению в Москву моего сына: «Я следил за погодой Крыма — снег! Вы осенью с севера на юг — ехали. Обошлось? Но *без* Гурфинкеля было бы *безумием* ехать!» «Да, ты был прав, Юра — прекрасный Спутник!»